

«Натуль, иди смотри!!!» История любви

Ольга Кучкина · интервью / биографические беседы / не опубликовано · 2019

Ольга КУЧКИНА

«НАТУЛЬ, ИДИ СМОТРИ!!!»

История любви

Мы начали встречаться и разговаривать в конце 2019-го. Втроем. Всеволод Хачатрян — Сева — сын знаменитого художника Рудольфа Хачатряна. Я — Ольга Кучкина, журналистка. И диктофон. Продолжили в 2020-м. Разговоры лились привольно. Как хотели. Ненасильственно.

СЕВА (рассматривая картинку на стене):

Это какой-то был повод? Когда мама картинку подарила? Какой-нибудь день рождения?

ОЛЬГА:

Не помню. Просто она хотела, чтобы у меня была ее картинка, и она предложила выбрать. Я выбрала.

СЕВА:

И правильно выбрали. И еще как-то правильно она висит.

ОЛЬГА:

Муж Валерий повесил.

СЕВА: Правильно повесил.

ОЛЬГА:

Сева, начнем с высокой ноты. Скажи, какое переживание в твоей жизни было самым тяжелым? Если оглянуться на прожитое...

СЕВА:

Самым тяжелым... Слава Богу, такого, что вокруг меня бомбы падали, не было. А такое, что не отпускает до сих пор... Все же, наверное, уход отца. Он был возможным, в каком-то смысле запланированным, и все равно неожиданным для всех. И я до сих пор, когда работаю с архивом, смотрю фотографии минут пять-десять, дальше не могу. Что-то все время накрывает. Буквально на днях опять поймал себя на том же...

ОЛЬГА:

А что значит не запланированный уход?

СЕВА:

Летели в Берлин на запланированную операцию, хотя я знал, что шансов мало, и все-таки была надежда на успех...

ОЛЬГА:

Сердце?

СЕВА:

Сердце.

Дела сердечные

СЕВА:

Операция была сложнейшая. Делал ее немецкий хирург Роланд Хетцер¹, мировая знаменитость. Когда у отца был очередной приступ в Москве, Михаил Алшибая, наш товарищ и совершенно чудный человек, сказал, что Роланд Хетцер — единственный, кто возьмется за эту операцию. Как бы три операции в одной надо было сделать. Отец свое сердце совершенно...

ОЛЬГА:

Износил?

СЕВА:

Ну да. У него в 2007 году был юбилей, 70 лет, повышенное внимание, а он и так-то не очень хорошо себя чувствовал, тем более, что не очень себя сдерживал, и курил, и пил, и тут еще этот тяжелый юбилей в Доме кино, Союз армян России устраивал. Просто все уже немного зашкаливало...

ОЛЬГА:

Сверх сил было...

СЕВА:

Да. В общем, у него случился сердечный приступ такой силы, что пришлось скорую помощь вызывать. Была пятница, поздний вечер, лето, не лучшее время заболеть. Я ехал на дачу с семьей, сто километров от Москвы, пробки, сестра Моко позвонила, что у папы приступ. Скорая помощь увезла его в ближайшую реанимацию, было ощущение, что у него третий инфаркт. Ночью и утром перезвоны, кто-то из друзей — академиков медицинских приехал в больницу, консилиум ...откачали.... Оказалось, это все-таки не инфаркт, а отек легких, он задыхался. Это сильно отца встряхнуло, и он лег на обследование в Склиф. Там врачи сделали стандартные исследования и обалдели, мягко говоря, потому что им было непонятно, как это сердце работает... Я взял все диски с результатами и пошел к Мише. Он в своем кабинете включил просмотрный экран, а у него аспиранты какие-то сидели, и кто-то из аспирантов говорит... а я просто сижу... и вот он говорит с какой-то такой интонацией, что ясно, они обсуждают того, кого уже нет на

свете... Миша на этого аспиранта так посмотрел и говорит: молодой человек, больной еще на этом свете. Ну, тут последовал обмен репликами на чисто мужском языке. А дальше Миша говорит, что единственный, кто может сделать операцию, это Роланд Хетцер в Берлине. Светило кардиологии. У него должны были оперировать Ельцина, но чекисты требовали, чтобы Хетцер закрыл отделение или приехал в Москву, чтобы оперировать здесь...

ОЛЬГА:

Ельцина же ДеБейки оперировал.

СЕВА:

Да. Но после Ельцин ездил к Хетцеру на обследование. Более того, была построена специальная палата. Две палаты совместили и получили полностью бронированную капсулу. В одной пациент, в другой охрана... В общем, полетели мы в Берлин, и положили отца в эту президентскую палату. Он был ужасно горд...

ОЛЬГА:

Как ребенок...

СЕВА:

Ну конечно. Мы с мамой поселились в гостинице при госпитале. Там познакомились, пока готовились к операции, с какими-то ребятами, ну совсем олигархами. Кто-то привез своего родственника...

ОЛЬГА:

И там другие были деньги?

СЕВА:

Ну да. Этот олигарх перед операцией очень разнервничался, почему он заплатил в пять раз больше, а его не положили в ельцинскую палату. Но я думаю, это вопрос не к клинике, а к посредникам. Вообще я с детства относился к богатым людям с большим уважением, думаю, что это отдельные таланты, которые Бог дал. Это же не просто деньги с неба сваливаются. Заработать большие деньги — это уметь руководить огромными коллективами и много чего еще. Пока отец создавал свои замечательные вещи, их таланты, тоже штучные, превращались в какие-то бизнесы, я имею в виду, что деньги — это всегда результат чего-то. Наш друг, Феликс Даниелян, Фело, один из трех крупнейших цеховиков Армении в советское время, на нем просто полстраны держалось. Это фабрики, производство товаров, это обаяние, мощь, бесстрашие. Он отца очень любил. А после 1994 года появился Витя Яковлев, такой маленький принц, который стал и другом, и спонсором отца, и коллекционером, и выставку в Третьяковке просто в подарок отцу преподнес, каталоги там и все прочее. Он много чего сделал в

бизнесе, построил завод и половину акций продал какой-то компании. Но в какой-то момент люди, покупавшие завод, видимо, решили, что дешевле убить Витю Яковлева, чем очередной транш перечислять. И просто около дома, когда он доставал продукты из машины... в магазин съездил... его расстреляли. Кто-то подошел, приставил к голове пистолет и нажал курок. Это была катастрофа. Витя очень серьезно занимался отцом. На открытие выставки в Третьяковке привез кучу своих парижских друзей-галеристов. Я помню, на банкете эти ребята французские подняли тост за него, имея в виду, что он нашел своего Художника. И помню еще, как он из Нью-Йорка прилетел ужасно радостный, с кем-то он там в Нью-Йорке договорился — в течение полугода вставят в план нью-йоркского Гуггенхайма отцовскую выставку. Это был просто потолочный уровень — выставка в Гуггенхайме в Нью-Йорке... Я хочу сказать, что в самых критических ситуациях, касалось ли это здоровья, денег, творческих метаний, вдруг появлялся кто-то, как будто его специально спускали для помощи отцу...

ОЛЬГА:

Стало быть, Хетцер взялся за операцию...

СЕВА:

Взялся, но честно сказал, что шансов мало. Слава богу, он говорил через переводчицу. Я ее подготовил, что и как говорить, поэтому отец вполне весело лег на операционный стол, полагая, что через десять дней он будет в Москве дальше гарцевать. Сама операция прошла хорошо. Но где-то дней через пять врачи сказали, что они все сделали, как надо, однако время прошло, а сердце так и не вспомнило, как ему жить самостоятельно. Мы с мамой все поняли и подписали бумаги, что мы согласны...

ОЛЬГА:

На отключение аппаратов?

СЕВА:

Да. Потому что это же не просто пересадка другого органа, а это был бы уже абсолютный инвалид, и он явно никому бы за это спасибо не сказал... И вот эти фотографии... уже сколько лет... в 2007 году он ушел, стало быть двенадцать лет прошло... Я первые годы просто не занимался архивами, а именно фотоархивами, потому что этот его голос... Не то, что именно отец ушел, а образ жизни, который с ним ушел... меня это прямо накрывало. Не в смысле, что плакать начинал, но так расшатывало... ну, трудно было... Потому что начинались звуки, голос слышишь, глядя на фотографию... Самым тяжелым был, естественно, первый год. Очень старались заботиться друг о друге. Понимали, что от нас ушел самый главный человек... Когда мама уходила... безусловно они были самые близкие люди для меня... но все-таки она болела последние три года, и все это время мы боролись с ее

болезнью, а последний месяц, благодаря действительно замечательным людям, она провела в хосписе №1. У нее был рак и больное сердце, и врачи почти насильно забрали ее от нас, поскольку начались процессы, с которыми семья в домашних условиях уже не в состоянии была справиться... Огромное им спасибо, потому что мы не очень еще понимали ситуацию ... Ее уход был спокойный, достойный... просто спокойное угасание, без мучений для нее...

ОЛЬГА:

Мы много говорили с ней по телефону в эти дни, она с каким-то удивительным благородством все принимала.

СЕВА:

Это была уже вторая онкологическая атака. Первый раз у нее нашли рак еще при отце. Тогда ее оперировали первый раз. А через сколько-то лет вторая волна. Так что она к этому отнеслась, как сказать, достаточно спокойно. Все, что можно было сделать, было сделано.

ОЛЬГА:

Ты говоришь, что, если бы отец продолжал жить, это был бы другой человек...

СЕВА:

С донорским сердцем?

ОЛЬГА:

Да.

СЕВА:

Это было совершенно невозможно. Никто, кто близко его знал, не представлял себе, что вот он, придя в сознание, узнал бы, что он инвалид с каким-то донорским сердцем, который должен еще какое-то время чуть ли не на каталке ездить. Это было не для него... его жизнь потеряла бы всякий смысл, весь его склад пришел бы в противоречие с образом его жизни...

ОЛЬГА:

А что это был за склад?

СЕВА:

Ой, зверь он был!

Зверь

ОЛЬГА:

Зверь?!..

СЕВА:

В смысле, природный очень. Какие-то такие корни были у него... Недаром он хвастался, что в школу не ходил, дворовый парнишка был, хулиган. Как-то его судьба так вела, что он впитывал жизненную органику. Впитывал от людей, от солнца, от друзей, от знаменитого художника Ерванда Кочара. Они познакомились, когда отцу было пятнадцать лет, и Кочар сразу объявил: дух Леонардо жив! Тот опыт, который человечество придумало, школа, институт, это же неплохой опыт...

ОЛЬГА:

Но это ему было не нужно?

СЕВА:

Его скорость впитывания была запредельной. Он вообще был абсолютно математической моделью.

ОЛЬГА:

В каком смысле?

СЕВА:

Я люблю математику. И, занимаясь Фондом, просто систематизировал его творчество. Даже по годам, по периодам, по всему — абсолютно математические закономерности, которые мы знаем, скажем, в музыке. Любую музыку математики разложили на очень четкие закономерности. Когда они это нашли, то подтвердили: раз есть математическая точность, значит, это правильно. Без этой гармонии — сумбур. В нем была эта природная точность, которую мы видим повсюду, начиная с таблицы умножения. Вроде простая вещь — таблица умножения. Но только на ней основана почти вся наша жизнь, история, искусство и так далее. И когда все восхищались карандашными рисунками отца, это было всего лишь одним из аспектов точности. Я для себя это слово как-то очень емко ощущаю. Точность. Я думаю, вы как писатель это тоже знаете, что слова чуть-чуть меняются, и встают так, что их уже нельзя сдвинуть. Вот у отца такая точность: в его работах ничего не можешь сдвинуть, потому что есть внутренняя логика, которая для кого-то мистика, для кого-то метафизика, для кого-то это требует научного обсуждения, но в его работах это есть.

ОЛЬГА:

Интересно.

СЕВА:

Не знаю, что заставило его сделать выбор в пользу занятий изобразительным искусством в послевоенном Ереване, тогда, когда можно

было выбрать любую судьбу, начиная от какого-нибудь карманника, сапожника, портного и кончая школьным или институтским обучением, но он выбрал эту. Подумайте, ведь у него не было ни набросков, ни детских рисунков. И дело не в том, что я хвастаюсь отцом или не хвастаюсь. Это — он. А я просто что-то транслирую. Почему захотел рисовать, он и сам не знал. Это примерно, как в женщине жизнь зарождается. Мы все знаем, как человек растёт, как женщина носит плод, и так далее. Но как это происходит в самом начале, это остается тайной. Почему мальчик начал рисовать? У него это было природное. И тогда понятно, почему его на улице увидел Кочар, который был как марсианин для Еревана того времени, феноменальный человек. И понятно, как отец к нему прилип, вот именно прилип навроде звереныша. Он ведь ничего не знал. Может, знал слово Шишкин из какого-нибудь Огонька и все.

ОЛЬГА:

А откуда ты узнал этот сюжет про Кочара?

СЕВА:

От отца, конечно. И Кочар рассказывал. И все друзья это знали. С юности эта история тянулась и ни в какие мифы не превращалась, а просто была известна всем и каждому, и так и жила. Кроме отца, весь Ереван молодежный к Кочару ходил. Всё поколение друзей отца. Кочар любил, чтобы вокруг него была молодежь. От некоторых старших товарищей отца я не раз слышал критику Кочара в том смысле, что он был абсолютно необъективен — всех хвалил: ты гений, ты гений, и ты гений! Это мозги многим сносило. Но не отцу. Просто человеку от рождения дано что-то, что сильно отличает его от других. За бурным темпераментом отца, за жизнью быстрой, застольной, за многочисленными дружбами часто казалось, что он разменивается. Где-то в последние годы, когда я у него спрашивал, жалеет ли он о чем-то как художник. Мы обсуждали этот вопрос, потому что, конечно, когда он был популярен и количество заказных портретов, часть из которых он делал, как говорится, одной левой, зашкаливало... Но в какой-то момент он и это уже делать не мог... В общем, их отъезд в 1989 году в Лондон не был поездкой на Багамы, аккуратно скажем...

ОЛЬГА:

Он должен был вырваться...

СЕВА:

Он должен был вырваться из накопленного опыта, его тяготила повторяемость. А когда он доходил до какой-то точки, всегда начиналась депрессия, начинались застолья, как угодно можно это назвать, но по-другому мужики тех поколений как-то не умели, их начинали раздражать страсти, с которыми они не умели справиться. Мучила ревность. И с той, и с

другой стороны. Тяжелые бывали периоды. Мама помудрее была. Но и она, бывало, не справлялась ни с ним, ни с собой.

ОЛЬГА:

Как дети это переживали?

СЕВА:

Тяжело. Родители познакомились в 1969 году, когда я пошел в первый класс и был уже полноценным участником большинства жизненных процессов. А где-то лет с 17-ти-18-ти мы с отцом практически вместе в мастерской жили и работали.

ОЛЬГА:

А как появился Лондон?

Лондон

СЕВА:

Если задним числом вспоминать, видишь не набор случайностей, а опять же фантастическую закономерность, видишь, что по-другому просто не могло быть. История вполне простая. В середине 80-х Никита Лобанов-Ростовский начал готовить свою театральную выставку в Пушкинском музее. Что-то он здесь разведal и заказal отцу парные портреты себя и жены Нины. И эти два портрета открывали выставку в Пушкинском музее. Нинин портрет он подарил потом Пушкинскому музею, он там у них и сейчас стоит. Свой тоже подарил, но его не приняли, потому что в Пушкинском уже был его портрет, по-моему, работы Бенуа. Родители подружились тогда с ним. Он — веселый, амбициозный, легкий в общении, очень остроумный человек был. Она — милейшая женщина, с хорошим вкусом. Позже Никита позвонил отцу и сказал, что приедет с английскими банкирами, которые тоже хотят заказать портреты. Пришли банкиры, отец сделал их портреты, а у банкиров официальный визит был, и понятно, что за ними наблюдали, и за отцом наблюдали. И англичане его спрашивают: а вы были в Лондоне? Отец говорит: нет. Они говорят: а приезжайте. То есть они хотели расплатиться с ним в Лондоне. Это было семейство Оппенгеймеров. И отец полетел в Англию. 1989 год. А в Англии Армянскую диаспору тогда возглавляли братья Карапетяны. Как раз они собирали деньги на строительство госпиталя в Спитаки, после землетрясения. Еще английская дама, Каролина Кокс, она поддерживала Армению во всех обществах, в том числе в английском. Отец ее портрет тоже сделал. Все подружились. А банкиры повели себя хуже всех. Недели две не отдавали деньги и морочили голову, пока в какой-то момент отец не забрал у деликатной мамы телефонную трубку и не объяснил Никите на прямом армянско-русском языке, что он думает о нем, об Оппенгеймерах и вообще обо всей этой ситуации, после чего его

пригласили в какую-то штаб-квартиру, извинились и вручили конверт, даже, по-моему, с некоторым увеличением суммы в порядке извинений. Кто морочил голову, не знаю. Неважно.

ОЛЬГА:

Сколько отцу лет было?

СЕВА:

1989 год был, он 1937 года рождения. 52 года.

ОЛЬГА:

А тебе?

СЕВА:

Мне 27. В Москве уже какая-то ерунда творилась перестроечная, художественная жизнь путаная стала. Виза была короткая, отец с мамой вернулись в Москву. А потом Ваге Карапетян, глава армянской диаспоры, прислал отцу приглашение, на полгода. С жильем удачно получилось. Один из друзей владел гостиницей и отдал какую-то незадействованную часть этажа отцу под мастерскую. В центре, прямо рядом с Бейкер-стрит, рядом Бритиш музей, роскошные Cork Street и другие улицы с художественными галереями. И сразу пошли заказы, традиционно — портреты. Но тут произошла сшибка. Кругом шум, а у отца внутренняя замкнутость, погруженность в себя. Он понял, что эта замкнутость на самом деле звуковая, языка он не знал, и это как-то ему понравилось. И тогда начался тот период, который назывался сперва Метаморфозы, потом Многомерные объекты, но сначала произошло Возвращение к Открытым формам, — которые он оставил незавершенными в 1969 году, как раз тогда, когда они с мамой познакомились. Какая-то болдинская осень наступила, или как это называется, когда человек за короткое время делает больше, чем за все прежние годы. Начался этот период английский, когда он просто пахал, пахал и пахал, работая с новыми материалами.

ОЛЬГА:

Новые материалы — это что?

СЕВА:

Бумаги разные огромные, пенокартоны, акрилы, пигменты удивительные, полимерная глина... Он сначала один поехал, чтобы ничто его не отвлекало. Я был на подхвате. А когда он понял, чего хочет, тогда был арендован дом в Илинге (Ealing), мама приехала, сестра Люсик как раз закончила школу и просто автоматом приехала, поскольку в Москве ее ничто не держало. Так начался его лондонский период, первая часть которого, самая плодотворная, закончилась большой выставкой в Москве в 1993 году в ЦДХ. Кроме тысячи

картин и рисунков, он заработал еще два инфаркта. И в какой-то момент у него вновь возникла эта потребность увидеть все, что он сделал. Короче, надо было его из Лондона эвакуировать, и я придумал, просто придумал вывезти его вместе с работами под Московскую выставку, а это две тонны веса, и все требовало денег. Но как-то так звезды опять сложились, я пошел по кругу друзей, и все мне помогли. Леонид Бажанов, чудесный, он тогда в Минкульте работал, еще до создания ГЦСИ, Центра современного искусства. Олег Шандыбин, директор РОСИЗО, сразу включился, а после меня к себе позвал работать, и мы с ним много музейных выставок вместе сделали. А с другой стороны, меня представили Дмитрию Сарабьянову, и он взялся писать текст для каталога. Соединилось как-то все очень здорово. Владимир Куропатов, тогда он был директор ЦДХ, две тысячи квадратных метров отдал под выставку отца. После этого отец мог жить спокойно и работать здесь и там. В Англии был вид на жительство. И эта свобода была чем-то абсолютно новым. Другая жизнь началась. И отец вышел в объем, стал создавать... скульптурами их трудно назвать, подбирали слово, по-моему, это Валерий Турчин придумал: Многомерный объект. А уже когда в каталоге слово появляется, оно так и закрепляется. У отца всегда была большая проблема с названиями и терминами. Когда последние каталоги делали — в какой-то момент сдались и просто писали: композиция 1, 2, 3, 4, 28, потому что слова закончились осмысленные. Кстати, в классическом периоде у него десятки не поименованных портретов. Женские портреты, Портрет молодого человека, Мужской портрет — максимум вариаций. Когда я с архивами теперь занимаюсь, очень забавно, потому что женских портретов в разных каталогах просто много, и о каком портрете идет речь, бывает сложно понять... В общем, третий творческий этап Многомерный объект начался в 1989 году, можно сказать, с портрета Никиты Лобанова и его жены Нины. А первый этап, который в каталогах, естественно, называется Юность, то это время с 15-летнего возраста до четко 1969 года, когда последовала встреча с мамой в Сенеже...

ОЛЬГА:

Ну расскажи про его встречу с мамой — из тебя это прямо рвется.

Встреча

СЕВА:

Просто существует точная точка отсчета, которую не изменить. Сенеж потом много лет в нашей жизни присутствовал. Мама чуть-чуть знала об отце, потому что за два года до этого из Еревана приезжал Роберт Элибекян. Он был младшим другом отца, когда приехал из Тбилиси учиться в Ереван и снял комнату в том же доме, где отец в своем первом браке жил. То есть одна дверь открывалась — Роберт в свою маленькую комнатку входил, а соседняя открывалась — входил отец с семьей. Так вот, в 1967 году Роберт с

мамой в Сенеже пересекся, и рассказывал про своих друзей, в том числе, про отца. И когда они реально встретились, мама и отец, что-то такое замкнуло и больше не разомкнуло. Начался бурный роман, который так и длился до конца их жизни.

ОЛЬГА:

Он развелся с первой женой Джеммой?

СЕВА:

Да. Два года были не из простых, потому что у него было две дочки в Ереване, мои будущие сестры. Еще лет десять эта ситуация была мучительной. Масса друзей не поняла отца. И потянулся такой шлейф, что он-де бросил семью в Ереване, променяв ее на москвичку, и тем более, еврейку... Очень трудный развод у отца был.

ОЛЬГА:

А у мамы?

СЕВА:

Мама к этому времени уже была свободна от первого брака, в котором родился я, самостоятельно построила кооперативную квартиру и была вполне самодостаточна.

ОЛЬГА:

Севочка, а в семье об их встрече что-то рассказывалось?

СЕВА:

Нет, деталей не было. Они встретились и больше не расставались, мне так легче ответить. Потому что, если я начну что-то домысливать... Мне кажется, большинство друзей семьи, которые потом много лет знали и любили обоих, безусловно и вы в том числе, любовались этой парой. Но не всегда было понятно, как они, такие антиподы, могли всю жизнь вместе прожить, при том, что отец яростно увлекался и не скрывал этого... И не то, что мама была мудрая и все прощала ... но, наверное, была мудрая все-таки... Все увлечения — это были модели. И результатом были потрясающие рисунки. Создавая их, он не мог не увлекаться, модели давали ему какой-то импульс, так, что он сам потом удивлялся тому, что у него получалось.

ОЛЬГА:

А существовала опасность, что его увлечения могли кончиться разрывом?

СЕВА:

Не опасность... но у меня такое ощущение, что мама довольно рано для себя поняла, как ей себя вести. Она же очень интуитивный человек. И она

понимала, что его в какой-то момент может разнести, как его разнесло, когда он с ней встретился. Бросить мастерскую, подаренную государством, бросить свой круг, свой Ереван, в котором он был уже молодая звезда, бросить семью с двумя детьми — это же все в разнос, шаг совершенно против всяких правил. Кто его здесь в Москве ждал? Он по-русски-то плохо говорил вначале. Поэтому, я думаю, мама понимала, что если он один раз что-то сделал, то может и еще раз сделать. А отец, со своей стороны, был всерьез ревнивый человек. Без шуток. Мама ведь была художник кино, работала на киностудии...

ОЛЬГА:

И была безумно хорошенькая.

СЕВА:

О да!.. Слава Богу, в 1977 году она ушла с киностудии. А когда работала, отец ездил с ней в киноэкспедиции и периодически взрывался. Без всякого повода. Потом сам не понимал, с чего его так повело. Патологическая ревность, которая описана в учебниках.

Страсти

ОЛЬГА:

Сева, а кто создавал атмосферу в семье? Мама?

СЕВА:

Конечно, мама создавала. Как могла. Отец не очень управляемый был. Многие поэтому обижались на него. Понятия дипломатии, терпения у него просто отсутствовали. Его разносили его страсти, особенно по молодости лет, когда здоровье было. И особенно, когда он в какой-то творческий тупик входил. Это катастрофически часто было. Он не был запойным, но он мог гулять три дня подряд. Для друзей и для малознакомых людей это было в радость, но ясно, что для семьи это не всегда большое счастье. Мама была такой громоотвод многие годы. И, по возможности, дипломат, потому что отец часто бывал не сдержан в выражениях. И ей приходилось сглаживать углы. Не то, что ему свойственна была какая-то грубость, но вот этой точности, которая в его искусстве абсолютно восхищает, он требовал и от других. И та бескомпромиссность, та ярость, та страсть, та, можно сказать, круглосуточность творческого процесса, какими жил он, требовалась и от других.

ОЛЬГА:

Ты сейчас судишь обо всем, когда прошло время. А тогда? Ты и тогда это понимал?

СЕВА:

Думаю, да. А сейчас, когда я собираю воспоминания разных людей, я особенно ясно вижу причины и следствия. Те, кто отца любил, в первую очередь, как художника, принимал его целиком. Другие предъявляли ему претензии: да, конечно, художник, но он такое мне сказал!.. Или: я ему объяснял, что надо делать, но он меня не слушал... Я им говорю: послушайте, если бы он вас слушал, он бы не был тем, кем, вы гордитесь, вспоминаете, что были с ним знакомы... Я же говорю, он и любил, и дружил яростно.

ОЛЬГА:

Зверски.

СЕВА:

Зверски, да. Теряя по жизни часть друзей, поскольку такой ритм круглосуточной дружбы не все выдерживали. Но и повод для обид по-настоящему отец тоже давал, друзья-то тоже были темпераментные.

ОЛЬГА:

А у тебя конфликты с ним были?

СЕВА:

Ну, конечно.

ОЛЬГА:

Что оставалось? Обида?

СЕВА:

Да нет. Такого, чтобы я помнил, не было.

ОЛЬГА:

А восхищение было?

СЕВА:

Разумеется. В мастерской же все время жизнь кипела. Постоянно народ. Слава у отца велика была. Были ресторанчики, был Дом кино, был Дом художника на Гоголевском бульваре...

ОЛЬГА:

На Гоголевский меня кто-то и затащил. Как?!! Ты не знаешь, кто такой Хачатрян?!! Ты не видела Хачатряна?!!

СЕВА:

Алик Слободяник поставил рояль у нас в мастерской в 70-х годах. У него дача сгорела, рояль некуда было девать... Музыкальные вечера были. Картинные вечера. Просто застолья. Быстро жизнь шла... Периодически

ругались. Это, когда мне уже за 30 было. Сильно, по-мужски ругались. Но где-то, особенно после возвращения из Лондона, стало понятно, что нельзя ругаться. Во-первых, бессмысленно. А во-вторых... Круг начал сильно сужаться, я имею в виду людей совсем близких. Стали уходить люди его поколения, это естественный процесс, появляются другие люди, но место, где были прежние, оно же не зарастает. И два инфаркта — это серьезно. И потом я уже просто стал заниматься его и мамиными делами, поэтому ссориться было некогда, надо было просто помогать. И иногда страховать. В обороте уже были большие деньги, появились коллекционеры, отношения стали сильно меняться, появился артрынок. Если раньше в стране, где мы родились, художник — было очень уважительное понятие, то в середине 90-х уже тема другая началась: продается-не продается. Это не просто было старшему поколению принять. Отец по своему складу всегда был одиночкой как художник, но он уже привык в музеях делать выставки, а тут оказалось, что жизнь меняется, музей, конечно, хорошо, но жизнь происходит в галереях, где картины просто продаются. А для этого надо иметь свою галерею или своего галериста, а у нас все было, во-первых, самодеятельно, во-вторых, очень на энтузиазме молодежном, но он как-то ни туда, ни сюда не попадал, все совсем, совсем не его, совсем разные языки... И плюс к тому все вдруг начали выяснять, каким хачикам где надо жить, где Ереван, а где Азербайджан... Короче, надо было кому-то осуществлять связь с быстро меняющимся миром, и я взял часть этого на себя.

Дела семейные

ОЛЬГА:

Когда я только стала знакомиться с вами, я думала, у вас в семье все художники...

СЕВА:

Я долго рисовал, и вполне успешно. Но где-то к 30 годам довольно трезво, без трагедии, решил, что, конечно, зарабатывать деньги своим художеством я могу, это как-то получалось, но в семье такие критерии были... Короче, я начал заниматься всеми организационными вопросами, поняв, что так будет честнее. Что тиражировать какое-то еще количество картин просто потому, что семья художников, нужды нет. Хотя отец и мама потом периодически грустили по этому поводу, что, может быть, слабоват я оказался, но... Какие-то работы в мастерской лежат, я их очень люблю... Люсик, младшая сестра, училась в Лондоне, работала как художник, но после рождения сына, у нее потребность в творчестве ушла. Может, временно.

ОЛЬГА:

А старшая?

СЕВА:

Старшая, Инга, никогда не рисовала, всю жизнь проработала библиотекарем и мамой. А вторая сестра из Еревана, Марьямчик, ее домашнее имя и творческий псевдоним — Моко, в детстве она была вундеркинд, она, конечно, потрясающая художница. И муж у нее художник. Они оба абстракционисты, но от ее работ прямо дух захватывает. Она — девочка без тормозов, И в личной, бытовой жизни не всегда выносима, но когда она работает, все ее странности жизненные там выплескиваются и реализуются. То есть в то, что эта девочка шарашит 3-5-метровые абстракции, никогда не поверишь, никакой темы женского искусства, мощнейший художник с природным чувством масштаба и цвета. Как у отца чувство точности. Сейчас на компьютере ее покажу... Взять любой кусочек работы отца — в нем законченность. Это примерно так же, как... я не знаю... палец отрежем — конечно, больно, но устройство пальца-то законченное целое, совершенное явление природы.

ОЛЬГА:

Не думала об этом.

СЕВА:

Я имею в виду базовые математические построения: композицию, гармонию, золотое сечение и так далее... кого позвать, чтобы найти перевод на более понятный человеческий язык. Очень хорошо об этом говорил академик Аркадий Мигдал, они дружили с отцом. Он был физик-теоретик, но еще рисовал и резал из дерева, и от него я услышал однажды очень красивую фразу: ты понимаешь, мы как художники общаемся с такими цифрами, которые полная абстракция!

ОЛЬГА:

А что отец?

СЕВА:

Отец отвечал: ну, раз абстракция, значит, хорошо!!!

ОЛЬГА:

Это потрясает. Человек с четырьмя классами образования и ученый-физик разговаривают на одном языке!

СЕВА:

Да. И это — какой-то язык из будущего. Все его художественные опыты — язык будущего.

ОЛЬГА:

Где это происходило? В застолье?

СЕВА:

Конечно. А другого способа проведения времени не было. Просто физически не было. Это было или рисование в мастерской или сидение в ресторане. Никто никуда не гулял, в отпуска никто никуда не ездил, никаких санаториев. Дачи друзей, мастерская, ресторанчики — всё. А когда рисование — тогда и общение. Отец же очень харизматичный был. Вообще позировать долго, сидя неподвижно, тяжелая штука. Но большинству было интересно позировать, потому что отец... ну, как за мимикой пианистов мы следим, поскольку во время игры это завораживает. Рихтер такой был, его микродвижения завораживали. И отец во время работы завораживал. И если это не мешало работать, какие-то темы всегда обсуждались, вплоть до самых важных. Поэтому многие любили позировать отцу.

ОЛЬГА:

Чем еще занимается семейство Хачатрянов?

СЕВА:

Старший сын Артем — программист. Младшая, Катя, студентка мединститута. Моя жена Оля — врач. Как у нас получилось? Отец как кардиологический больной уже после Лондона периодически получал бесплатное лекарство. Друзья говорят: давай мы положим тебя в Бакулевку, обследуем и переведем на нашу схему лекарств. Как раз в это время Миша Рошин, нежный наш друг, лег туда же планово, что-то типа батарейку в моторчике поменять. Едем в Бакулевку, ту, старую, какой она была до ремонта, Миша лежит там в палате номер шесть, вонь страшная, хлоркой все моют, в палатах по пятнадцать человек, в общем, такая типично советская больница. Отец в ужасе. Мы же в Лондоне лежали, там вообще запаха нет. Ну, потом нашли другую, 59-ю больницу, нормальное отделение, терапия, легли, обследовались, получили лекарства, все образовалось. Но когда отец туда лег, там была молодая доктор, прикрепленная к его палате, готовила кандидатскую. Когда мы на второй день к отцу пришли, какая-то юбочка мелькнула — эта самая докторша. А ее руководительница очень мечтала выдать ее замуж. И вот значит тут отец знаменитый, тут какой-то разведенный сын — она стала приглядываться, о чем-то с отцом говорить. Потом отец выписался, естественно, портреты всех делал, в том числе Ольгин. И как-то мне пришлось пару раз ее провожать, потому что она за городом жила с родителями, и так понемножечку я стал оттаивать, хотя жениться у меня никакого желания точно не было, я только-только развелся, и все это было довольно тяжело, дураком себя вел, конечно, бодались за ребенка... Год мы где-то валандались, уже отец мне говорил, что надо жениться. И когда решили, что пора, то свадьбу сыграли в день рождения мамы, как подарок ей. У нас в семье есть какие-то совпадения дат, а тут как раз весна приближалась...

ОЛЬГА:

А у мамы когда день рождения?

СЕВА:

25 февраля. Она на неделю старше отца. Они оба 1937-го года рождения, только мама 25 февраля, а отец 4 марта. И свадьбу сыграли в мамин день рождения в мастерской... А сейчас оглянулись — уже тридцать лет прошло!..

ОЛЬГА:

Ну и еще один художник был в семье...

СЕВА:

Да. Мама.

ОЛЬГА:

Наталья Шнайдер.

СЕВА:

Наталья Шнайдер-Хачатрян.

Король и королева

ОЛЬГА:

У нее обворожительные работы. Рудик как-то позвал моего мужа Валерия на хаш в шесть утра, после вчерашних возлияний. Я напросилась, чтобы они взяли меня с собой. Женщин в таких случаях не берут, но Рудик сделал для меня исключение. Это было в ресторане, где Наташа расписала панели... ах, нет, я ошибаюсь, она показывала нам свои великолепные панели в другой раз в ресторане Серебряный век в бывших Центральных банях...

СЕВА:

А вы знаете, что это отец втянул ее в серьезные занятия живописью? Раньше она занималась своим кино и вовсе не думала об изобразительном искусстве. Как раз в 1969 году вышел фильм Король-Олень, где она была художником по костюмам. Стала звездой в профессиональном киношном мире. У неё в фильмографии штук пятнадцать фильмов, из которых часть она и сама не вспомнила бы. И еще много спектаклей, где она была художником по костюму.

ОЛЬГА:

Два абсолютно разных художника с разными мирами...

СЕВА:

Они жили и работали в мастерской в Кривоколенном, и у меня в ушах все время звучит это восклицание, как мем: Натуль, иди смотри!!!

ОЛЬГА:

Она смотрела, и что?

СЕВА:

Мама всегда была деликатно бескомпромиссна. И обожала, и радовалась, и критиковала, и советовала. Нет, компромиссов в мастерской между ними не было.

ОЛЬГА:

А как можно критиковать и советовать что-то в таком мире, который другому может быть недоступен?

СЕВА:

Это их язык был. То, что отец говорил маме, а мама говорила отцу, принадлежало только им двоим. И интонации даже важнее слов были. Можно было рядом стоять, слышать, радоваться, удивляться, но это был их язык. И они друг друга в этом смысле очень ценили и очень любили, и им было абсолютно невозможно без этого жить. То есть вопрос взаимной творческой оценки, поддержки — это было их базовое начало. Я же говорил, что живописцем мама стала поздно, отец её заставил, он влюбился и увлёкся мамой, художником по костюму, с очень лёгким рисунком. Но живописью в классическом понимании мама даже и не думала, что когда-нибудь станет заниматься. Отец её просто в это внёс, заставил, вдохновил.

ОЛЬГА:

Он увидел в ней что-то, что было скрыто?

СЕВА:

Можно и так сказать, да. Дал ей уверенность. Возвысил её как художника. У нас дома висит ее первый натюрморт. Уже по нему видно, какой самобытный она художник... Понимаете, отец был абсолютный одиночка. В его поколении это сразу бросалось в глаза, поскольку было принято жить некими движениями, некими направлениями, группами, официальными и неофициальными, воодушевлёнными общими идеями, что есть в принципе традиционная и полезная вещь. Отец ни в какую группу не входил, для него это было настолько неорганично, ну совсем-совсем неорганично, что даже не обсуждалось. И масса людей из его поколения, поколения шестидесятников, конформисты и нонконформисты, с огромным уважением и восхищением к нему относились. И отец, по своему складу ироник, как-то в шутку сказал, а оно прилипло к языку, и, в общем, наверное, если снять некоторую восторженность, патетику, наверное, какая-то правда в этом была, так вот он однажды сказал, что по сути своей он — король. То есть человек на некой вершине власти. Властитель. Властитель всегда одинок. Не руководитель,

не главный чиновник, диктующий подчиненным, это было не его дело, — он был король по своему существу, а его художественный мир — его королевство. Не в плане фантазий. В мировой культуре много художников, которые создали свой фантазийный мир. У него не это королевство было. Его королевство было там, где он общался тоже с королями. И поэтому ходить с ним в музей, смотреть книжки было одно удовольствие. Он смотрел и обсуждал только то, что считал вершиной в художественном мире. Был ли это древний Египет, или Возрождение, или какие-то вершинные вещи XX века — но всякий раз то, где, он чувствовал, был вклад художника в мировое искусство, где человек поставил перед собой невыполнимую задачу и максимально решал ее как художник. Вот это было его королевство. А учитывая, что мы говорим о них двоих, о нем и о маме, то мама, конечно, была королевой в его королевстве. И это была не просто влюбленность в красивую женщину, что с художниками часто случается, тому есть много замечательных примеров, многие жены рисуют и многие жены — сами художники. Мама была королева в его арт-королевстве!

ОЛЬГА:

Как ты хорошо это сказал. В ней, правда, было какое-то особенное достоинство. Достоинство и простота.

СЕВА:

Он делал ее портреты с большой буквы, которые мама не любила, потому что была очень самокритична. Зато обожала его автопортреты. Отец много автопортретов делал, для него это был такой стержень его жизни художественной. Он заканчивал какой-то период и начинал новый с автопортрета. Это было точкой отсчёта, точкой рождения чего-то нового. Или наоборот, когда он внутри себя в стенку упирался, и тогда он опять-таки через автопортрет всматривался в себя, не слушая никого, поскольку плохо воспринимал советы в искусстве... А мама к себе относилась всегда очень критично. Её на самом деле было трудно рисовать. Бывают лица очень обаятельные, которые мы воспринимаем в движении, в мимике, в улыбке, но поймать это обаяние и сохранить его в статике непросто. А у мамы ещё, как это часто бывает, лицо было довольно асимметричное. Отец умел использовать ее асимметрию и схватить ее обаяние. Поэтому на его портретах она такая немножко перламутровая, мерцающая. У нее и живопись такая мерцающая, и сама она была немножко мерцающая. Некоторые парные портреты были особенно удачны. Самые торжественные отнял, купил, утащил к себе в Музей современного искусства Генрих Игитян, и десятилетиями они висели рядом — точно король со своей королевой. Мама не любила этот свой портрет, имея в виду его подчеркнутую монументальность. Хотя сами портреты замечательны.

ОЛЬГА:

Она стеснялась этого портрета?

СЕВА:

Нет, просто что-то было ей не органично, она себя так не вела и так не жила, и так не стояла, и так не разговаривала, как может показаться по этому портрету. Я вспоминаю эпизод, случившийся в 1979 году. Генрих Игитян пришёл в мастерскую с коллекционером из Еревана. Его имя было Генрих, фамилии не помню, все его звали Мух, детская кличка такая. Он был из первых цеховиков. Коллекцией владел невероятной, все безумно качественное, по высшему разряду. А человек без всякого образования — ну был! Наташа Нестерова рассказывала, как он пришел к ней, а она уже знала его хватку и какие-то работы в другую комнату спрятала, а в этой что-то ему показывала, он смотрел-смотрел, потом типа пошёл водички попить, зашёл в другую комнату, нашёл другие картины, притащил: только это куплю! Поразительный был человек... А с отцом такая история. У отца в 1979 году была серия мужских портретов, в том числе его автопортрет в фас...

ОЛЬГА:

Это где он в шляпе?

СЕВА:

Нет. Такой немножко неправильный автопортрет, потому что он чуть-чуть испортил свой пиджак, когда рисовал, и получилась только голова. Мама обожала этот автопортрет. Они были парные — отцовский автопортрет и портрет мамы на картоне, наверное, самый лучший из её портретов, у меня в Фейсбуке в мастерской они стоят рядом. Отец подарил маме свой автопортрет на день рождения, потому что она просто обожала его. И вот мама делает кофе, они смотрят картины, и Мух вцепляется в этот автопортрет: хочу его, и всё. Отец говорит: нет, нет, он не продается. Притом, что все сто лет знакомы, и это не просто жена Рудольфа, это — Натулик! Что-то там обсуждается по ценам, и Мух повышает в два раза цену по отношению к другим, рядом стоявшим работам. Отец говорит: не продам. Мух ещё раз повышает цену, и отец вдруг понимает, что если сейчас Мух купит автопортрет за такую цену, он завтра проснётся, первый раз в жизни не имея долгов. А это 1979 год, отцу 45 лет, он уже не только в Ереване, но и в Москве известный очень человек, но известность и деньги — это не синонимы, понятно, да? И в результате отец отдаёт Муху этот автопортрет. Маме ничего не сказали. Мух ещё несколько вещей купил, и они уходят. Отец возвращается. Радостный. Деньги тут лежат: Натулик, завтра мы... То есть он хочет сказать, что сегодня он отдает долги, и завтра они просыпаются без долгов...

ОЛЬГА:

Дальнейшее не поддается описанию, да?

СЕВА:

Да. Мама неделю с ним не разговаривала. Первые два дня она, не переставая, плакала. И это не был её каприз. Просто она не могла пережить утрату того, что ей было так дорого. Неделю в мастерскую не приходила, дома жила, на Преображенке. А отец домой не приходил. Такая глубокая ссора случилась... Но у этой истории было потрясающее продолжение. Отца уже не было в живых, я начал фондом заниматься, и Муха тоже уже не было в живых, его вдова переехала к родственникам в Штаты и распродала коллекцию, как-то все разошлись, и я искал концы этой коллекции. Вдруг мне звонит один галерист из Еревана и говорит: тут автопортрет отца продаётся, присылает фото. Я говорю: кто продаёт? Он говорит: ну, кто-то, не важно, у него свой интерес. Я говорю: какая цена? Он называет цену, которая в тот момент, что называется, в кармане лежала, на моё счастье. Я говорю: ты можешь сегодня его забрать? Он говорит: ну да, не вопрос. Я говорю: я побежал. Я выбежал, перевод сделал, и он, действительно, забрал этот портрет себе в галерею. Мне позвонил: всё, портрет у меня. Я маме ничего не стал говорить, это было накануне её дня рождения, и я хотел преподнести ей сюрприз. И тут происходит какая-то фантастика. Буквально через несколько дней в галерею являются полицейские и арестовывают всю галерею, включая всё, что в ней находится, вообще всё. Оказалось, какой-то неизвестный антиквар, жулик, судя по всему, какую-то картинку галеристу принёс на реализацию, и этого жулика арестовали и нашли документ, где картинка находится, пришли, но потом по юридическим аспектам это все затянулось, и целый год помещение было арестовано вместе с отцовским автопортретом. Галерист в ужасе был. И сами полицейские уже поняли, что они неправильно поступили. Надо было забрать одну эту сомнительную вещь, но так как у них не было эксперта выяснять, они арестовали всё, что там было. Через год я вышел на какой-то уровень в МВД Армении: ребята, мою-то работу отдайте мне! Отдали. Когда дело закончилось, и помещение рассекретили. Так автопортрет к нам вернулся.

ОЛЬГА:

Мама была счастлива?

СЕВА:

Вы не представляете, как.

ОЛЬГА:

И он теперь в мастерской?

СЕВА:

Да. Как приехал, как встал на мольберт, так и стоит. Все проходящие в мастерскую с ним здороваются, фотографируются около него.

Открытые формы

ОЛЬГА:

Очень трудно говорить о человеке, который не проторённой дорогой идёт, а совершает открытие совершенно нового, того, что не стыкуется с прежним. Итак, первый этап Рудольфа Хачатряна был Юность. Это когда Кочар воскликнул: Леонардо вернулся! Он закончился периодом Открытых форм...

ОЛЬГА:

Давай попробуем сформулировать, что такое Открытые формы.

СЕВА:

Сейчас скажу. Когда речь идет об изучении, осмыслении чьего-то творчества, для этого есть искусствоведы, историки искусства, есть набор правильно подобранных терминов. Но это немножко не мои возможности. Подбирать внутри семьи сложные искусствоведческие термины — это вообще-то странно. Люди просто общаются. А те разговоры, которые велись и ведутся, какие-то отдельные слова, реплики, они абсолютно внутри семьи остаются. Это какой-то семейный сленг, и не нужно его публично транслировать... У отца, по моей систематизации, которую я не придумал, а она естественным путём сложилась, первый этап назывался Юность. Он связан был и с возрастом, и с очень чёткими временными рамками. Дальше наступил этап Классического рисунка с 1970-го года по 1989-й. И в нем было три периода: рисунок на бумаге, рисунок на картоне и рисунок на левкасе. Всё очень чётко связано с материалом, но совершенно разные задачи и возможности. Начался он с переездом отца в Москву и встречей с мамой. Первые рисунки выставлялись в 1971 году в Манеже на большой всесоюзной выставке. Этот этап закончился также очень чётко в 1989 году переездом в Лондон. Вот просто ни вправо, ни влево — никуда. Внутри этого классического периода был период рисунка на бумаге. Появился финский картон. До него была очень плохая бумага, рисунки желтели. А тут пошёл период на картоне, очень любимый всеми, и возникла сепия. Карандашей не было. В 1979-м году появилась первая доска с левкасным грунтом. И с 1980-го года начался третий период — рисунок на левкасе, на загрунтованных досках, который длился примерно десять лет. Тут мы подходим к термину Открытые формы. Он не отцом придуман. Это был Кочар, кто создал целое направление, названное им Живопись в пространстве. И он говорил отцу, что тот через свой талант выйдет на это направление, самое удивительное, как он считал, из всех направлений, порожденных XX веком. И вот отец подошёл к решению этой задачи, погрузился в эту тему Открытых форм и в 1969-м году делал в Сенеже как раз серию литографий. Разразился скандал. Приехала комиссия. Из Москвы в Ереван ушло письмо с требованием санкций, вплоть до ареста литографий и

исключения автора из Союза художников за формализм. Бредовая какая-то история, с нашей точки зрения. Но тогда это было не очень-то бредово. Обычно после Сенежа вещи закупали, а тут наоборот, какие-то санкции. Потом Михаил Лазарев, многолетний наш друг, а тогда молодой искусствовед, член комиссии, рассказывал мне, что во время обсуждения отец темпераментно и не очень дипломатично стал всем объяснять, кто из них чего стоит. То есть отец сам поднял градус конфликта, и всем прилетело по полной программе. А там были люди старше отца, плюс какие-то идеологи, секретари Союза художников, они, разумеется, обиделись, и началась заваруха. Тем временем мама, как услышала, что литографии куда-то арестуют, взяла подмышку, села на электричку и увезла из Сенежа в Москву, где все литографии спрятала. Таков был финал их сенежской встречи. И это была точка отсчета в их личной судьбе. В Ереване он был уже очень известен, но чем-то тяготился. Первый брак был непростым: оба были молоды, двое детей, денег, как всегда у всех, не хватало, а самомнение и самоуверенность всегда были высоки — все как-то сошлось. А тут еще этот формализм, в котором его обвинили, по-моему, он это слово услышал тогда в первый раз. Ереван же был очень свободный город художественный, и его друзья — все были современные художники. Короче, он воспринял случившееся как вызов судьбы.

В искусстве разрушение и созидание в своих наиболее значимых и талантливых проявлениях — всегда синонимы. Первая половина XX века — это были годы, когда всё менялось, все бурлило. Кочар в это время жил в Париже — центре художественного мира, куда стекалось все самое современное, включая, к примеру, импрессионистов, которые подготовили художественный взрыв уже одним фактом своего существования. Но это сейчас они стали импрессионистами, хотя совсем недавно тоже были за бортом. И тут понеслось. Каждый начал какую-то неизвестную территорию захватывать. Я не знаю, как Клондайк какой-то. Приходили импрессионисты, пуантилисты, фовисты, дадаисты, футуристы, кубисты, столбили участки и начинали копать. Все занимались, по сути дела, одним: разрушали до каких-то пределов, каждый по-своему, существующую пластику, существующие образы, существующее восприятие искусства. Но, разрушая, собирали из прежних элементов свой образ, свою гармонию, своё направление. Взять, скажем, кубизм в таком детском понимании: берем любую фотографию, нарезаем на квадратики, перемешиваем их, потом, с разной степенью талантливости, опять соединяем и получаем кубизм. Кубизм, если я правильно понимаю, был одним из первых направлений, которое не только разрушило, но и создало законченную систему нового художественного языка. И тут начались проблемы, потому что мало кто мог овладеть этим языком. Мы же не расстраиваемся, когда не понимаем языка физиков-теоретиков. Приди мы с вами на какое-нибудь собрание к ним, кроме предлогов, ничего не поняли бы. С искусством была традиция, что оно

должно радовать, украшать, ублажать, быть похожим — по крайней мере, такова европейская традиция. И тут появились совершенно другие художники, которые заговорили на другом языке в изобразительном искусстве, появились их манифесты, тексты, что стало элементом, скорее, науки. До этого в художественном мире не существовало науки об искусстве.

ОЛЬГА:

Искусствознание?

СЕВА:

Да. И возникли переводчики с художественного языка на язык человеческий. Кочар был первооткрывателем того, что было им названо Живопись в пространстве, но в переводе с французского. В собраниях знаменитых коллекционеров работ Кочара в то время было больше, чем Пикассо. А потом пошла эта волна армян-репатриантов. Они стали массово возвращаться в советскую Армению, чтобы строить новую сказочную страну, особенно те, кто выжил после Геноцида 1915 года. Приехали — многих с парохода сразу в тюрьму посадили. Обычная наша весёлая жизнь. В Париже осталась семья Кочара, в Париже остались картины. Ему повезло, что он просто долго прожил. Звание получил, со второй попытки сделал памятник Давиду Сасунскому, теперь это символ Еревана. А первая попытка была, когда памятник-то ему заказали, но обвинили в формализме и посадили в тюрьму, а модель просто уничтожили. Его в заключении били, после чего он оглох на одно ухо. Он был эпатажный человек, француз, ходил с тростью. Он никогда никому не помогал, не учил, как рисовать — такой темы у него не было. Это просто было общение. Отец никогда у Кочара на уроках не сидел, никаких натюрмортов и всякого такого детского сада не было. Был период, когда отец ходил в институт, в каких-то биографиях даже приврали, что он что-то там закончил — но этого тоже не было, просто ректор пускал его как вольнослушателя в класс, где рисовали с натуры. Периодически он ходил к скульпторам, у которых модель была важной частью обучения, а иначе где взять модель молодому человеку... Открытые формы — это была зараза, которую принёс Кочар, творческая зараза. До этого отец и кубизмом занимался, и Пикассо его на какое-то время увлек. Он, как губка, впитывал в себя. Чем он никогда не занимался, это абстракция. Это было не его. По крайней мере, у него не было потребности в неё погрузиться...

Но Открытыми формами он занялся уже всерьёз, основательно, упёрто.

Серия литографий 1969 года, которую я всю нашел и собрал, стала финалом его Юности. Отец чувствовал, что там есть и вторичность, и некая стилизованность, что ему было абсолютно не органично, и тогда начался его этап Классического рисунка.

Он взял паузу в 20 лет.

ОЛЬГА:

Посторонний человек скажет: он зарабатывал на своих классических портретах значительные деньги, и неожиданно отказаться от понятного языка в пользу языка непонятного и неизвестного...

СЕВА:

Вы же знаете, что это не неожиданно и, стало быть, вы — не посторонний человек. Он уже занимался Открытыми формами раньше. Произошло возвращение и развитие этих форм. Дальше — глубже: Двуетьединство, Двойное состояние, Метаморфозы, Многомерные объекты... При этом множество людей считало, что он немного с ума сошёл. Известный художник, у него хотят покупать его работы, а он отказывается от заказов, не рисует то, что у него так волшебнo получается, и ещё на три буквы посылает! Один чудесный портрет Люсика, действительно чудесный, до сих пор о нем грустим, был продан за реально большие деньги, хотя отец как художник был малоизвестен в ту пору в Лондоне... А тут агенты радостно ему говорят: ну вот, мы жилиу нашли! А для него это была уже забытая история, он был уже в другом измерении...

ОЛЬГА:

Я думаю, нам поможет объяснение самого Рудольфа. В интервью мне он говорил: понимаешь, вот яблоко, написать его — это реализм, а написать космос — это что, небо, звезды, луна, разве это космос? Есть поверхностный реализм — то, что мы видим глазами, и есть духовный реализм, который может передать глубокое человеческое сознание, мир многомерен, художники всех веков пытались передать время в искусстве, мне это удалось, я сделал то, что, может быть, только через сто лет будет понятно... Мой комментарий был краток: кто-то скажет — какой самоуверенный — я так не скажу.

СЕВА:

Я, кстати, как раз у вас прочел, что он ушел в совсем иной художественный мир не по расчету, а по судьбе. Так ему было назначено. Его волновали двое как человеческая категория, двойственность как психологическая категория, двойничество как еще более высокая философская категория... это — все его темы, его периоды.

ОЛЬГА:

Он любил цитировать Евангелие от Фомы...

СЕВА:

Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону... когда вы сделаете глаз вместо глаза, и руку вместо

руки, и ногу вместо ноги, и образ вместо образа, — тогда вы войдете в Царствие. Евангелие и Апокрифы были его настольными книгами. Когда он прочитал эту фразу, он ахнул. Было впечатление, будто апостол Фома явился в Лондон, увидел работы отца и написал эту фразу. Или сформулировал, наконец, фразу, которую отец тоже искал, — подобные точные фразы тоже ищутся. Нам очень повезло, что, начиная с 70-х годов, с нами рядом был наш друг Левон Абрамян, учёный, историк, этнограф, совершенный ангел, спустившийся на землю, не только по отношению к нашей семье, но и ко всем, кто его знал и знает. Он соткан из удивительной деликатности и абсолютной бескомпромиссности — в научном плане просто бетон. Уговорить его на что-то невозможно было, если он был уверен в другом. Его исследования рождались из бесед с отцом. Какие-то вещи он так точно формулировал, что прояснял для отца путь, ясность фразы давала возможность продолжать поиски. Какие-то вещи задним числом формулировал отец, так, что Лёва удивлялся, потому что это была абсолютно точная модель, которая в истории человечества многократно повторялась в областях культуры, науки. Левон начал структурировать все эти вещи и идеи, и все встало на свои места, масса таинственных сакральных высказываний в разных традициях мировой культуры стала складываться как пазл с абсолютной очевидностью и, как всегда, с точностью!..

ОЛЬГА:

Счастье Рудика в том, что он черпал от многих замечательных людей, целый ряд близких людей были его ресурсом...

СЕВА:

И, прежде всего, мама, которая... без неё такого Рудольфа Хачатряна, какого мы знаем, не было бы. То есть не то, что отец не состоялся бы без мамы.... Но не состоялся бы... потому что и жизненные, и человеческие, и творческие силы, которые давала ему мама, — без них он тоже был бы другим. Она создавала этот баланс, внутри которого он кипел, иначе выплеснулся бы куда-нибудь, захлебнулся бы... Он не был домашним человеком. Воспитание детей и все такое прочее было не по нему. Он любил нас и очень ответственно относился к своему отцовскому долгу, зарабатывал деньги, кучу их тратил, чтобы... как бы это сказать... чтобы у всех окружающих его всё было правильно. И в долгах, как в шелках, полжизни жил, именно для того, чтобы всё было правильно...

ОЛЬГА:

А теперь для тебя правильно исполнять свой сыновний долг...

СЕВА:

Сразу возникла идея фонда. Часто бывает, что наследники начинают ссориться. У меня три сестры. В Армении, в России, в Англии разные законодательства, касающиеся творческого наследия художников. И когда появляется наследство, с наследниками вдруг что-то происходит. Но я как-то быстро инициировал семейный разговор, и, слава Богу, мы поняли, что все абсолютно на одном языке говорим, у нас нет ни малейших разночтений. Мы быстро по музейным правилам создали информационную базу, все было снято, оцифровано, перемерено, все-все-все, и потом, без всяких нервов, года за полтора, составили наследственные блоки, с какими все согласились. Мы отбирали работы, которые должны быть в общем фонде, и которые не могли шевельнуться без общего решения. Какие-то небольшие части закреплены за нами персонально. Не самые значимые, так договорились. Я этим управляю, слежу, реставрирую и так далее. На какие-то продажи, когда ко мне обращались, мы, согласовав между собой, давали добро, на другие не соглашались. Для публикаций мы, разумеется, предоставляем разные материалы, оцифровки. Идет такая музейная работа, спокойная и естественная. Штук пятьдесят фальшивок уже выявили. А нет лучшего доказательства качества художника, чем появление на художественном рынке подделок!

ОЛЬГА:

Рудольфу повезло, что у него после смерти оказался такой родной менеджер.

СЕВА:

А тогда мы вернулись из Берлина опустошенные. Пустые. И помимо пустоты ничего не ощущали.

Прощание

ОЛЬГА:

Не могу отделаться от чувства великой досады, что так и не напряглась, чтобы заказать Рудику портрет. Все думала: вот поднакоплю деньжищ!.. А надо было быть проще...

СЕВА:

...и сказать все прямым текстом.

ОЛЬГА:

Да, и сказать все прямым текстом.

СЕВА:

А может, вы ждали, что он сам предложит сделать ваш портрет.

ОЛЬГА:

Не знаю.

СЕВА:

А он не предложил.

ОЛЬГА:

А потом уже было поздно... Потом были похороны.

СЕВА:

Похороны?

ОЛЬГА:

Ну да, похороны.

СЕВА:

Мы транзитом залетели в Москву тогда из Лондона...

ОЛЬГА:

Это была весна... или...

СЕВА:

Август. Ровно середина августа. Он ушёл 15 августа, а мы дня через три прилетели в Москву, и это было в зале прощания...

ОЛЬГА:

Да, на Армянском кладбище...

СЕВА:

Нет-нет, это был зал прощания на Тимошенко. А уже оттуда вечером полетели в Ереван и там в Пантеоне его похоронили.

ОЛЬГА:

Странно... Какая-то абберрация памяти... У меня осталось впечатление, что это было Армянское кладбище... Подожди, а поминки были?

СЕВА:

Нет, поминок не было, потому что мы вечером улетали в Ереван всей семьёй.

ОЛЬГА:

Но мы были на поминках в Кривоколенном переулке!

СЕВА:

Может быть, это была первая годовщина смерти... Потому что на первую годовщину мы всех звали...

ОЛЬГА:

Столы стояли накрытые...

СЕВА:

Может, 40-й день? В мастерской мы собирали друзей.

ОЛЬГА:

В памяти такой солнечный день. И на кладбище как-то празднично.

СЕВА:

Это уже был сентябрь.

ОЛЬГА:

Много детей, и дети все принаряжены, в белых носочках, в черных лакированных туфельках...

СЕВА:

Я думаю, это на 40-й день мы позвали друзей... Ну да, все логично. Так оно и было. И день был ласковый и теплый.

ОЛЬГА:

А маму где похоронили?

СЕВА:

Когда мама уходила, мы с ней успели обсудить. Поскольку, с одной стороны, Ереван — не ее город, а с другой... В общем, мы с ней говорили о том, с кем ей хотелось бы быть, потому что родители и вся ее ближайшая родня в Петербурге, но там не могилы, там стены, и в какой-то момент мама сказала, что, может быть, в Ереване...рядом с Рудиком...

Я говорю: через пятьдесят лет, которые пролетят так же быстро, как и все остальное, кого будет волновать, твой Ереван был город или не твой. Единственное, что останется, — совместная ваша жизнь, и это уже даже не просто какая-то абстрактная романтическая история, а это два художника, прожившие общую жизнь. То есть когда я ставил памятник отцу, это где-то в подкорке уже сидело... и я... Там, в Армении, земля — камень, и я просил ребят, которые наш проект воплощали, конструктивно оставить место для мамы... В последние годы жизнь настолько ушла в виртуальную плоскость, что всякие бытовые артефакты не имеют прежнего значения, как, скажем, где и какие картины находятся... или кто и где похоронен...

ОЛЬГА:

А во мне как живые звучат слова Наташи, которые она произнесла, когда Рудольфа не стало: кончилась его смертная жизнь человека, началась

посмертная — художника.

Примечание

¹ Роланд Хетцер (Roland Hetzer, род. 1944) — немецкий кардиохирург, основатель и многолетний руководитель Немецкого кардиологического центра в Берлине (Deutsches Herzzentrum Berlin), специалист по сложным операциям на сердце, трансплантации сердца и искусственному сердцу.